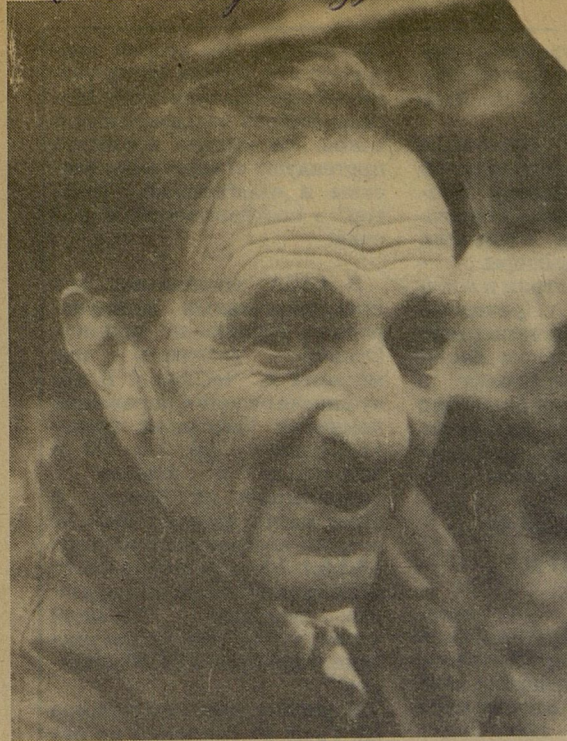


Литературные встречи

# ВЕЧЕР, КОТОРЫЙ НЕ КОНЧАЕТСЯ



- Ксения Михайловна, неужели и Ахматова умела веселиться?  
- Ну, знаете, не то чтобы веселиться, но могла заглянуть к нам вечером на Плеханова с бутылкой водки.  
- А почему вас Зощенко называл "тихой"? Вот здесь, на книжке: "С чувством большой симпатии - очень милой и тихой Ксаночке на память и с надеждой на дружбу. Мих. Зощенко".  
- Мне было очень интересно, я боялась пропустить что-нибудь из их разговоров и действительно чаще молчала... Но вы едите, пожалуйста. Это замечательные пыжи. И масло. Не хотите? Потому что по талонам?  
- Да, "Все становится хуже и хуже в отношении "Мюр-Мерилиз". Постойте, вы не знаете, что такое "Мюр и Мерилиз"?  
- Не знаю, Израиль Моисеевич.  
- Я попал на другую планету! "Мюр и Мерилиз" - знаменитый съедобный магазин, там, где теперь ЦУМ. В двадцатые годы слюжили о нем такую песенку... Ладно, давайте выпьем.  
- Не могу. У меня образовалась аллергия на алкоголь.  
- Какой же это алкоголь?! Это Ксаночкина наливка... Не мучайтесь вы с английским, у меня есть русский перевод рецензии. Да, из американского журнала, говорят, очень престижного.  
- Я перепису, если можно, этот абзац: "В чем melancholicкая сила прошлого? Почему оно влечет нас и заставляет опять и опять с грустью оглядываться назад?... Русский писатель Израиль Меттер ищет ответы на эти вопросы в своей книге "Пятый угол"... Написанный в 1964 го-

ду, впервые опубликованный в нынешнем своем виде в 1989 году, а теперь прекрасно переведенный на английский язык Майклом Дунканом, роман "Пятый угол" пронзительным светом освещает смутное прошлое того, что когда-то было Советским Союзом, и одновременно рассказывает историю необыкновенной человеческой судьбы". Израиль Моисеевич, а в Италию вы собираетесь? Премия за лучшую иностранную книгу года!  
- Хотелось бы поехать. Там посмотрим.  
- Можно я помогу вам, Ксения Михайловна? Ну, я только на кухню отнесу.  
- А... Эти чашки Толя Мариенгоф подарил... Да, тут мы сняты с Полиной Осипенко. Смотрите, как тогда забавно писали в газетах: "Полина Осипенко возвращается с кушанья с К.М.Златковской, киноактрисой Ленинградской студии Союзтехфильма (Севастополь), 1936 год".  
- А здесь вы с Улановой. Вы танцевали вместе. Расскажите, пожалуйста.  
- Я лучше вам станцую.  
- А это?  
- А это мне просто тигр понравился, и я с ним сфотографировалась.  
Прокручиваю пленку, и ничего не хочется ни исправлять, ни сокращать, ни перекраивать. Так и сплетается все: звон рюмок, что-то о котлетах, потом про то, как Ольга Берггольц крикнула Александру Штейну - он безумно разбогател, пьесы его шли и шли, он купил огромную дачу в Переделкино, потом купил вторую и поставил ее на первую, - так вот, Ольга Берггольц пришла к нему в гости, ела, пила, а в дверях все-таки крикнула: "Шурка, все это когда-нибудь будет принадлежать народу!"; потом

про то, что сейчас творится за окном, потом крепчайший кофе, почти ночь, и конечно - о Пушкине, о Чехове...  
И - все правильно, никаких диссонансов. Потому что в этом доме уже много десятилетий живут главным, а все второстепенное, обиденное, случайное невольно подтягивается, выравнивается, влетает в это главное и не перечит ему.  
Автографы Паустовского, Зощенко, Ахматовой, Шостаковича, Евгения Шварца, Юрия Германа, Мариенгофа. Письменный стол, заваленный рукописями, письмами, книгами, - и все в этом развале на своем месте, все под рукою.  
- Израиль Моисеевич, что вы сейчас читаете?  
- Только что перечитал "Палату N 6" и все думал об этом человеке. Ему было тридцать два года, стоял 1892-й, и, наверное, вокруг происходило множество событий, которые казались самыми важными и свободными. Забастовки, холеные бунты. А вот он не писал о них, писал о чем-то своем, как бы малосущественном. А сегодня именно он современен и злободневен, и у него можно искать ответы на наши вопросы.  
- Значит, не надо писателю заниматься политикой, заниматься в присиходящем?  
- Не надо. Писателю свойственно знать что-то большее, чем окружающая среда. Додумываться. Это, вероятно, дано ему Богом.  
А за политические соблазны приходится расплачиваться страшно. Вот вы сейчас слышите, читаете о тех диких собраниях тридцатых, сороковых, пятидесятых годов и относитесь к ним отстраненно, как к истории. А я ведь на всех

этих собраниях сидел, видел, что делалось с людьми. Я вам сейчас прочту заголовки из "Литературной газеты" за 26 января 1937 года. Пушкинский номер. "Милость к падшим призывал". Шапка: "Смести с лица земли троцкистских предателей и убийц". Статьи крупнейших писателей времени. Алексей Толстой: "Сорванный план мировой войны"; Николай Тихонов: "Ослепленные злобой"; Константин Федин: "Агенты международной контрреволюции"; Юрий Олеша: "Фашисты перед лицом народа"; Всеволод Вишневский: "К стенке"; Исаак Бабель: "Ложь, предательство, смердяковщина"; Маризтта Шагинян: "Чудовищные ублюдки"; Евгений Долматовский: "Мастера смерти"; Виктор Шкловский писал: "Эти люди - кристаллы подлости".  
Вы полагаете, что всеми руководил страх? Или что все свято верили в дьявола? Нет, многие сознательно и спокойно шли на компромисс со временем, искренне полагая, что эти уступки ничего существенного не означают, а просто позволяют спокойно работать и заниматься своим делом. Рассуждали они примерно так: ни одной нотой не сфальшивлю в своей музыке, ни одним словом не наблужу в своей прозе, а уж на собраниях буду вести себя, как велено, и подписывать буду все, что прикажут.  
- Однако вы вели себя всю жизнь по-другому.  
- Не я один. Каверин никогда ничего не подписывал, Паустовский, Чуковский...  
- А на самом деле, имеет ли чистая совесть отношение к творчеству?  
- Нет. Чистая совесть не дает ничего, кроме нее самой. Многие писатели, пренебре-

гавшие ею, сохраняли свой талант и остались в истории литературы замечательными своими произведениями. Только не стоит читать их письма, дневники, разбираться в их личной жизни - может открыться много отвратительного. Пожалуй, только Пушкин выдерживает такое испытание, Чехов да еще, конечно, Короленко. Чистейшей души, уникальнейший человек. Страдал за людей, голодал вместе со всеми, отказался от дополнительного пайка, и только, когда крестьяне, скинувшись, привезли ему на телеге еду, заплакал и согласился... А писатель, впрочем, был посредственный. Думаю, за талант и совесть отвечают разные участки мозга, и тут уж ничего не поделаешь.  
- Даже если вы правы относительно разных участков мозга, то все же это мозг одного и того же человека, и совесть с талантом, конечно, взаимодействуют, конечно, есть, пусть и не очевидные, но существенные связи. Рано или поздно они раскрываются, разоблачаются и многое объясняют не только в авторе, но и в его произведениях. Думаю - это порокой и ваша жизнь, и ваши книги - в глубине души и вы так считаете... Давайте еще поговорим о гражданском поведении и о мужестве. Расскажите, пожалуйста, о ваших знаменитых аплодисментах Зощенко.  
- Я ужасно любил Михал Михалыча. Не могу сказать, что был с ним особенно близок, смотрел на него почитательно, но нас связывали добрые и хорошие отношения. Так вот, уже после смерти Сталина, в 54-м, приехали в Советский Союз английские студенты. Прибыли в Ленинград. На приеме у городских комсо-

мольских секретарей поинтересовались судьбой Зощенко и Ахматовой, мол, на Западе известно, что знаменитые писатели сидят. Оксфордцев или, там, кембриджцев разуварили и тут же устроили показательное собрание писателей, на котором следовало продемонстрировать живых и процветающих Зощенко и Ахматову. Вести собрание поручили Александру Дымшицу. Он был человек поротый и столь напуганный, что на него уже можно было положиться. Собрание состоялось в знаменитом большом зале, где Ленин объявлял советскую власть. Пришли писатели, ученые, вся интеллигенция Ленинграда. И вот двум измученным людям англичане задали один и тот же вопрос: как вы относились и относитесь к речи Жданова и постановлению ЦК партии сорок шестого года?  
Анна Андреевна, не шевельнув бровью, ответила:  
- Я и тогда верила и сейчас верю в справедливость. (У нее был расстрелян муж, сидел сын...)  
А Зощенко позволил себе черт знает что: мол, и тогда ему все казалось диким и сейчас кажется.  
Анну Андреевну выслушали молча, Зощенко зааплодировали, защекали фотоаппараты.  
А спустя несколько дней в "Ленинградской правде", без объяснений, без ссылок на приезд английских студентов, еще раз крепко ударили Зощенко. И сработала обычная история. Дробанули в газете, теперь надо собирать общее собрание писателей.  
Председательствовал Кочетов, из Москвы прибыл Симонов. Прихожу, а собрание никак не начинают. Я в Союзе с 1936 года, знаком с секретарями, разузнал: уговаривают Зощенко, чтобы он выступил с покаянием. Симонов уговаривал: все ведь пройдет, все забудется, вы только скажите, что были неправы... Зощенко согласился. Во время его выступления я стоял в конце зала, в проходе - вошел в последнюю секунду, бегал хватить коньяка. Так вот во время речи Зощенко я заплакал, физически заплакал. Зощенко говорил о том, как его оскорбил Жданов и что это оскорбление унижает нас всех. Писателя назвали трусом и подонком, а именно такими словами пользовались в постановлении о журналах "Звезда" и "Ленинград", эти слова нравились Сталину, и все об этом знали. Зощенко говорил страстно. Зал сидел ко мне спиной, но я был уверен, что мои чувства разделяют все. Здесь было много моих друзей, почитателей и обожателей Михаила Михайловича. Зощенко вдруг прервался и кинул в зал:

- Не надо мне вашего снисхождения... - махнул рукой и ушел.  
Тут я и зааплодировал, не сомневаясь, что меня поддержат. Хрен меня поддержали!  
А потом я шел домой с двумя моими близкими друзьями, и они укоряли меня: зачем ты это сделал? Ты думал помочь, а только навредил и себе и другим. Не сознавайся, ты стоял в толпе, могли и не заметить, что аплодировал именно ты... Что ж, один из них был великим драматургом, да и второй был известным прозаиком...  
- Давайте немного отвлекусь от давнего прошлого и продвинемся к недавнему. Я знаю, что вы собираетесь отдать журналу "Ленинград" письма Сергея Довлатова, которые получали в последние годы из Штатав.  
- Знакомство с Сережей началось около двадцати лет назад. Я тогда страшно увлекался работой с молодыми авторами. Я ведь по природе отвратительный учитель. Я ненавижу преподавание в литературе, но в жизни мне все время хочется что-нибудь проповедовать. Много людей побывало в моих семинарах, кто-то стал известным литератором и еле-еле здорывается, кто-то так и не вошел в литературу... Было много забавного, много горького. Как-то попался мне замечательный рассказ "Лесные сторожа". О лесниках, не о лесничих, те с высшим образованием, а именно о лесниках, хозяевах леса. Я написал письмо Александру Трифоновичу Твардовскому, у нас были хорошие отношения. "Новый мир" вызвал за свой счет молодого автора в редакцию. И знаете, что тот сделал? Немедленно купил себе немыслимые малиновые брюки, голубой берет, что-то еще под стать и в таком виде явился к Твардовскому, полагая, что теперь только и похвал на талантливого писателя. А Твардовский всего этого "шика" не любил. А тут еще Александр Трифонович попросил исправить одно место в рассказе, где рубят колодец. Твардовский прекрасно в этом разобрался, колодец можно рубить только из осины, осина не гниет, как, например, береза. Мой протеже в малиновых штанах уперся и стал спорить. Рассорились. Но все-таки устроил рассказ к Кожевникову в "Знамя". Вы думаете, этот человек поблагодарил меня хоть одним словом? Никогда. А вот для Сергея Довлатова я ничего особенного не сделал. Мне очень понравилась его "Зона", я всюду говорил, что он хороший писатель, однажды устроил ему выступление, он прочел что-то из "ковбойных" рассказов, и все на него сразу набросались... Так вот он ничего не забыл и

писал мне в последние годы замечательные письма, острые, смешные, в них такая преданность литературе!..  
...  
Мое поколение узнавало Израила Меттера прежде всего по повести "Мухтар". По ней был снят знаменитый фильм с Юрием Никулиным. (Писатель и артист встречаются, дружат, переписываются и сегодня).  
Ярчайшим событием последнего времени стала повесть "Пятый угол". Она о любви. О мучительном, прекрасном, затмевающим все остальные события чувстве, которое и составляет жизнь.  
А на письменном столе лежит рукопись нового, только что законченного рассказа, цитатой из которого я и завершу заметки об этом прекрасном вечере в Петербурге, Ленинграде:  
"... Не странно ли, что мысли о смерти свойственны нам в ранней юности и в глубокой старости. Всю же остальную промежуточную жизнь мы не слишком задумываемся о неотвратимости ее завершения; она даже представляется нам беспредельной. По милости своей Бог создал бессмертного человека, что и дает ему право грешить направо и налево в этой жизни, дабы, искренне покаившись, обрести законное блаженство в грядущем существовании.  
У меня путаное отношение к загробному бытию: не веря в него - для себя лично не веря, - я не могу вообразить, что мои многолетние любимые друзья, выкопанные земной косой, исчезли навеки. Слишком их много и слишком они мои, чтобы сгнить навсегда. И слишком меня мало, чтобы я остался всего-навсего один.  
Мне легче представить себе, что это я болтаюсь в некоей пустой невесомости, и вынужден время от времени за что-то ухватиться, чтобы почувствовать свою оседлость в сияющей современности; а подлинные мои современники - мои покойные друзья - справляют обычное свое застолье, то самое, тогдашнее хмельное, доброе, океанно веселое, полное безрасчудных надежд и мудрого отчаяния; за этим же столом уютовано место и для меня.  
- Штрафную! - завопят они хором.  
И я залпом опрокину стопку и начну торопливо рассказывать, как длилась жизнь в их долгое отсутствие. Но меня тотчас оборвут:  
- Заткнись!  
- А я не заткнулся и буду продолжать и продолжать, пока не увижу, как побелели их лица, омертвели глаза, и только тогда заору во всю глотку:  
- Братцы! Я пошутил... Давайте по второй".